



Н. Н. СТРАХОВ

Вздох на гробе Карамзина

(Письмо в редакцию «Зари»)

Карамзин, Карамзин! Какое чудесное имя, милостивый государь! Какою невыразимо-сладкою мелодией звучит оно для ушей моих! Перед мысленным взором моим при этих звуках тотчас возникает образ столь светлый, столь чистый, столь привлекательный, что напрасно я бы пытался изобразить его красоту своею неискусною речью. Великий писатель, создатель русской истории, зачинатель нового периода нашей литературы, а главное — человек несравненный по мягкости и благородству души, друг царей, но верноподданный России¹ — чего же еще нужно для самой чистой славы? Можно быть полезнее Карамзина, но усерднее быть невозможно; можно превзойти его размером сил, но нельзя превзойти красотою подвига; можно быть более великим, но нельзя быть более прекрасным человеком и гражданином!

Вы, может быть, удивляетесь, милостивый государь, этому восторженному тону, столь редкому в наше холодное и скептическое время (мы нынче стали ужас как рассудительны!); но вы поймете мое душевное настроение, если я вам открою, что я воспитан на Карамзине, что мой ум и вкус развивался на его сочинениях. Ему я обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями.

Так как я человек еще не очень старый, то вы должны найти странным это обстоятельство; между тем оно случилось довольно обыкновенным образом. Я воспитывался в месте диком и уединенном, в заведении глухом и невежественном. Так я осмелился назвать губернский город и учебное заведение, где я провел от двенадцати до шестнадцати лет моего возраста, те начальные годы, когда душа только что раскрывается для разумения и приемлет первые неизгладимые впечатления. Это было в са-

мом начале сороковых годов. Припомните, какая это была блестящая и многознаменательная эпоха в литературе. Лермонтов оканчивал свою деятельность, Гоголь издал «Мертвые Души», Белинский гремел все сильнее и сильнее и процветали «Отечественные Записки», переживавшие лучшую и незабвенную пору своего долгого существования. И что же? Наша семинария (кто по моей фамилии не догадался, что я семинарист?²) ничего об этом не знала, не имела ни малейшего понятия, как будто она стояла не на слиянии Волги и Костромы, а где-нибудь за семью морями, в Америке, еще не открытой Колумбом (из настоящего времени не приберешь и сравненья). Это заколдованное царство было истинно заколдовано страшной бедностью, непробудной ленью и непроницаемым невежеством. Вся эта масса народу от первого наставника до последнего из шести или семи сотен учеников — ничего не делала, ни над чем не трудилась и жила столь беспечно и спокойно, как будто никаких дел и не существует на свете, тем беспечнее и спокойнее, что под видом высших занятий можно было даже забыть латинскую и греческую грамматику — единственные сведения, которыми в начале учения украшается каждый семинарист.

О моя семинария! Когда-нибудь я напишу о тебе «особую поэму», разумеется в прозе, но — никогда я не помяну тебя лихом. Ты запечатлелась в моем воображении картиною светлою, идиллическою. Простите, милостивый государь, если я невольно отдаюсь этим сладким воспоминаниям. Семинария наша помещалась в огромном, но заглохшем и обвалившемся монастыре, в котором не насчитывалось уже и десятка монахов. Монастырь был старинный, XV века; в защиту от татар и других диких племен, он окружен был крепостною стеною, в которую можно было всходить; в верхней части ее были амбразуры для пушек и пищалей, по углам башни, под башнями подземные ходы... Мы жили, так сказать постоянно и со всех сторон окруженные Историею.

В эту обширную и пустынную развалину каждое утро сходилось из города множество мальчиков и юношей; они собирались в зданиях, лепившихся у монастырских стен и часто более похожих на сараи для лошадей, чем на людские жилища. Живо помню вас, мои бедные товарищи! Это были большею частью дети сельского духовенства, следовательно, вполне деревенские мальчики, с деревенскими нравами, в деревенской одежде — в лаптях и нагольных тулуках зимою, и только летом в более цивилизованном платье — в крашенинных³ халатах, при которых не было нужды в панталонах. Это были же, однако, очень

недурные дети! Их доброта, честность, мягкие и чистые нравы приводят меня в умиление, когда я переношу мыслью в те далекие годы.

Одно было дурно: учение шло из рук вон плохо. Чтением никто не занимался, так как книги были величайшою редкостью у учеников. Наставники, конечно, имели более возможности следить за наукой и литературой, но предпочитали игру в карты по маленькой, а затем выпивку и закуску. Бездействие было невероятное: собравшиеся ученики даже проводили большую часть времени одни, так как наставники безбожно опаздывали или часто и вовсе не приходили. Зато как мы резвились и веселились! Собравшись огромной толпой, мы, бывало, по целым часам пели хором деревенские песни; затем беготня, шум, рассказы, споры... особенно споры. Удивительно подумать, каким образом и откуда в этой массе, отрезанной от всего мира, держался и действовал нравственный дух и умственный жар весьма значительного свойства... Но об этом когда-нибудь после.

Итак, литература того времени к нам не проникала и не могла проникнуть. Но я однако же не ограничился тощими тетрадками, из которых почерпалась наша умственная пища. Уже тогда во мне загорелась страсть к чтению, которая ясно показывала, что судьба приведет меня на несчастное поприще русской словесности. Я добрался до семинарской библиотеки, в которую никто не заглядывал и из которой почти вовсе не выдавались книги. Библиотекарем был один из старших наставников, питавший ко мне особенное расположение. Он, подсмеиваясь и называя меня «преученою особой», дал мне свободный доступ к пыльным ворохам книг, хранившимся в одной из боковых комнат старинного собора, — и началось мое наслаждение.

Кто составлял эту библиотеку и какие случаи определили ее состав — не знаю. Но оказалось, что в ней было множество книг конца прошлого и начала нынешнего столетия и вовсе не было книг более новых. И так как эта библиотека была для меня единственным источником чтения, то и случилось, что я не только не слыхал о Гоголе и Белинском, а даже Пушкина и Грибоедова читал уже после, уже когда перебрался в Петербург. Я весь был погружен в книги первых и десятых годов нашего столетия и бродя среди берез и малиновых кустов монастырского сада, я перечитал этих книг великое множество. Моими светилами и образцами были Ломоносов⁴, Державин⁵ и Карамзин. В стихах я подражал Державину, но истинным моим любимцем, мою отрадою и утешением, властителем моих дум и чувств был, конечно и разумеется, — Карамзин.

С какою жадностию я читал и перечитывал его «Вестник Европы»! Уверяю вас, что ни одна книжка нового «Вестника Европы», издаваемого под редакциею г. Стасюлевича, не возбуждала во мне и тени того восторга, с каким я поглощал напечатанные на пухлой синеватой бумаге книжки Карамзинского журнала. «Письма русского Путешественника» действовали на меня как самая животрепещущая новость; «Марфа Посадница» была недосягаемым образцом поэзии, благозвучия, красноречия; первый том «Истории Государства Российского» я знал почти наизусть. Словом, Карамзин на меня действовал так, как будто я был его современником; я могу сказать, что пережил, перечувствовал на себе самом переворот, совершенный им в русской словесности, то невыразимое обаяние, которым этот великий писатель некогда покорил себе все умы и сердца. Осмелюсь ли сослаться на мои литературные труды? Внимательный читатель найдет в них некоторый, хотя слабый отблеск Карамзинского изящества и Карамзинской мягкости; и если силы мои ничтожны, объем моих писаний микроскопический и успех самый незначительный, то все-таки этим успехом я обязан стремлению уподобиться Карамзину плавностию слога и нежностию чувствований, а не какому-то моему ехидству, на котором столь упорно настаивали иные журналы и особенно один мой покойный приятель.

Не стану вам рассказывать о моей дальнейшей судьбе, о моих ученых занятиях, о долгих моих размышленииах, об изумительном зрелище воздушной революции, которой я был очевидцем, и о том жестоком недоумении и неудовольствии, в которое я был повергнут этим зрелищем. Все это отложу до другого времени; но уже из сказанного вы можете понимать, какую горечь должны были возбудить во мне так называемые нигилистические взгляды на нашу литературу, можете чувствовать, какою горячою кровью обливалось мое сердце при каждой дерзкой выходке, касавшейся Карамзина, этого светила моей юности, этого идола моих незабвенных и невинных отроческих лет.

И наконец мера переполнилась. В сентябрьской книжке «Вестника Европы» явилась огромная статья г. Пыпина⁶ «Очерки общественного движения при Александре I. IV. Карамзин. Записка “О древней и новой России”». Стр. 170—248), в которой подробно и пространно осуждается деятельность Карамзина и доказывается, что она имела самое зловредное влияние на судьбы России.

Карамзин — вреден! Карамзин — зло в нашем развитии, язва в нашей литературе, тормоз в нашем общественном движении!

Остановитесь, милостивый государь, на этой мысли, вдумайтесь в нее, взглядитесь, измерьте всю чудовищность ее смысла, весь ужас, который она в себе заключает. Если Карамзин вреден, то кто же может быть полезен? Если труд души и сердца Карамзина были злом и бедствием, то кто же может льстить себя надеждою, что он трудится во благо? Если Карамзин действовал против интересов России, то кто имеет право сказать, что работает для ее пользы? Не господин ли Пыпин? Вижу, очень хорошо вижу, что он так о себе думает, но после того, что случилось с Карамзиным, не верю, не могу верить, не хочу верить! Что такое г. Пыпин? Кому и в чем он может служить примером? Я знать не хочу г. Пыпина! Если человек столь возвышенной души, такого изумительного таланта, как Карамзин, не сумел найти надлежащего пути и всю жизнь с величайшим благодушием и чистою совестью наносил вред своему отечеству, то каких глупостей и мерзостей (разумеется, бессознательных) я не могу ждать от г. Пыпина, который, может быть, и почтенный человек, но во всяком случае далек от Карамзина как земля от неба? Если суд г. Пыпина над Карамзиным справедлив, то во сколько раз более жестокого суда должен ожидать от потомства сам г. Пыпин? Не будет ли его статья клеймом позора для его имени? В невинности души своей г. Пыпин не задает себе этого страшного вопроса; беспечно и самоуверенно он играет в отношении к Карамзину роль беспристрастного потомства; он забывает — несчастный и наивный человек — что он тоже сидит на скамье подсудимых и что с него взыщется тем строже, чем выше сияет та слава, до венца которой он тянется своею дерзкою рукою!

Карамзин вреден! Но стоит ли после этого жить и писать? Когда подобный приговор составляет награду писателя столь знаменитого, то как не приходят в отчаяние все писатели? На что трудиться мне, г. Пыпину и всем? На что писали наши предшественники? На что будут писать наши преемники?⁷ Нет, г. Пыпин, тут что-нибудь да не так; нет, вы чего-нибудь не сообразили, ибо из вашего заключения следовало бы, что вообще вредна литература, или по крайней мере, что русская литература до сих пор была злом для русского народа. Такая кощунственная мысль, вероятно, нравится г. Пыпину; но берегитесь, смелые и дерзкие люди! Есть граница, за которой смелость свидетельствует только о тупоумии, и дерзость доказывает, что человек не способен ценить и понимать того, о чем судит.

О, моя бедная Россия! О, мое несчастное отечество! Сколько раз я погружался в тяжелые размышления о судьбе твоей;

сколько раз я лил горестные слезы при мысли об испытаниях, тобою перенесенных, о безмерно-трудном пути твоего развития! Но особенно поражал меня тот страшный гнет, который тяготеет над твою нравственною и умственною жизнью; особенно чувствительна была для меня та мрачная сила, которая давит твои высокие умы, твои великие таланты. Часто я спрашивал себя: Каким образом возможна у нас история, поэзия, литература? Как они могли явиться при столь неблагоприятных условиях? Казалось бы, русская жизнь должна порождать одних Пыпиных, а между тем у нас есть Карамзин! Казалось бы, все наши поэты должны были походить на г. Минаева⁸, а между тем у нас есть Пушкин! Казалось бы, вся наша литература должна состоять из бесчисленных Решетниковых⁹, Щедриных¹⁰, а между тем у нас есть Лев Толстой¹¹. О, я понимаю то великое озлобление, которое царствует в известных кружках против каждого светлого явления в нашем умственном и литературном развитии! Я понимаю, что каждое такое явление эти люди должны считать незаконным, неестественным, противоречащим их заветнейшему убеждению! И когда я подумаю о том, что это убеждение столь разительно опровергается фактами, что мы *имеем литературу при таких условиях, при которых, по-видимому, никакая литература невозможна*, то я начинаю радоваться, начинаю смеяться над нелепыми рассуждениями наших новейших историков, начинаю думать, что история есть дело таинственное и трудно постижимое, укрепляюсь все больше и больше в той утешительной мысли, что жизнь немножко глубже, чем как понимает ее г. Пыпин.

Тень Карамзина! Тебя призываю на помощь! Подкрепи меня тою великою верою, которой я некогда питался в твоих бессмертных произведениях!

Начинаю с начала. Каким образом возможно самое появление Карамзина? Если мы послушаем наших новейших историков, то должны будем сказать, что это был какой-то урод или сумасшедший, а отнюдь не произведение исторических обстоятельств того времени. Представьте себе картину тогдашней России так, как ее изображают нынешние наши историки, столь беспристрастные и проницательные. Всюду — зло и мерзость; помещики — изверги, крестьяне — стада диких животных; господство грубой силы, разврата, азиатского абсолютизма. И вдруг является Карамзин. «Все условия жизни, — говорит г. Пыпин, — условия, создавшиеся целыми десятками и сотнями лет, делали невозможную добродетель» (с. 234). Кажется, ясно? И однако же — вдруг является человек добродетельный.

Является человек, кроткий как голубь, нежный и чувствительный, стыдливый как девица. Я радуюсь, а г. Пыпин негодует и недоумевает. Я преклоняюсь перед таинственною глубиною жизни, готовящей обновление русской литературы; г. Пыпин возмущается и злобно издевается. По его мнению, законными, уместными, правильными явлениями тогдашнего времени были какие-нибудь злодеи, разбойники, Пугачевы; Карамзин же с его голубиною нежностию ему кажется явным уродом, родившимся для того, чтобы задержать исторический ход нашего развития.

Затем следует рассмотреть воспитание Карамзина. Он попадает в масонский кружок, он делается ревностным поклонником Руссо¹² и Вольтера¹³. Какая опасность, если возьмет силу одно или другое влияние! Если бы Карамзин подчинился масонскому мистицизму, из него вышел бы какой-нибудь Лабзин¹⁴. Г. Пыпин уверяет, что масонство имело неизгладимое влияние на Карамзина. Неправда! Карамзин ему не поддался, и в этом состоит великий, хотя, по мнению г. Пыпина, совершенно неправильный факт. Точно так же было бы дурно, если бы Карамзин подчинился известным сторонам учений Руссо и Вольтера. Из него мог бы выйти второй Радищев¹⁵ или нечто вроде Пыпина того времени. По счастию, этого не случилось: из своего воспитания Карамзин вышел самим собою. Я радуюсь, а г. Пыпин сердится и удивляется.

Но вот Карамзин едет путешествовать. При тогдашних обстоятельствах какая это была огромная опасность! С его идеями, с его увлечением французскою литературою, с пламенной любовью к человечеству — что будет делать Карамзин, попавши во Францию? Он забудет свою родину, станет чем-нибудь вроде Герцена¹⁶, будет участвовать в журнале какого-нибудь тогдашнего Прудона¹⁷ и предастся всем волнениям революции. Прощай, новый период в русской литературе, прощай, «История государства Российского»! Мы знаем, что политическое движение Франции не осталось без влияния на Карамзина. «Робеспьер¹⁸, — свидетельствует Н. И. Тургенев¹⁹, — внушил Карамзину чуть не поклонение. Его друзья рассказывали, что при известии о смерти страшного трибуна он пролил слезы; в старости он еще говорил о нем с уважением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера, и даже его скромному костюму, который, по словам его, был контрастом костюму людей того времени»²⁰ (*La Russie etc.*)²¹. Что было бы, если бы это увлечение было сильнее и охватило бы Карамзина тогда, когда он был во Франции? Какое счастье, что этого

не случилось! Юный Карамзин посмотрел на события революции с такой точки зрения, что они не покорили вполне его души. Карамзин, как уверяет г. Пыпин, вовсе не понял этих великих событий. И Карамзин возвращается. Карамзин спешит домой. Какое благополучие. Я радуюсь всей душою, а г. Пыпин негодует. Г. Пыпин думает, что в этом случае Карамзин был глуп; я мог бы, однако же, доказать, что глупость не на стороне Карамзина, что смысл французской революции, о которой *теперь* так свободно рассуждает г. Пыпин, был величайшею неожиданностью не только для человека чужого, а и для самой Франции. «Кто мог думать, ожидать, предвидеть?» — писал впоследствии Карамзин, — и это было не реторическою фразою, как, вероятно, полагает г. Пыпин, а чистою правдою. История есть нечто таинственное и не совершается столь просто, как думает г. Пыпин. Во всяком случае я рад, что чреватая бурями тайна не увлекла нашего Карамзина. Г. Пыпин в укоре Карамзину указывает на некоторого И. В. Лопухина²², который будто бы отлично понимал смысл тогдашних событий. Пусть так; честь и слава И. В. Лопухину! Поставьте ему памятник! Но ради Бога, оставьте мне моего Карамзин и позвольте мне радоваться, что из него не вышел И. В. Лопухин!

О, неразумные историки! О, славные толкователи прошедшего! Как же вы не видите, что совершилось в душе Карамзина и что помешало ему сочувствовать революции? Карамзин думал о своем образовании, Карамзин в ту самую пору, о которой идет речь, *преобразовывал наш слог* своими письмами, Карамзин уже мечтал о своей истории! А главное, существенное, непобедимое препятствие состояло в том, что Карамзин всей душою был в России, не покидал ее мыслью ни на минуту, весь жил воспоминаниями своей родины, своего детства, своих друзей. Что же дивного, что он смотрел на революцию невнимательно, видел вещи в розовом свете, и лишь впоследствии понял истинный смысл виденного?

Карамзин был сыном екатерининского века — вот настоящая разгадка его судьбы и душевного склада. Он был сын славного, счастливого времени и потому был консерватор и не был расположен к раздору с окружающим, к событиям кровавым и мрачным. Карамзин такой же плод екатерининской эпохи, как Пушкин плод эпохи двенадцатого года. Если бы величие этих эпох не поразило блеском души этих отроков, то, может быть, у них не было бы той веры в себя, той веры в Россию, при которой только и была возможна их деятельность. Если бы для Карамзина не было делом несомненным, что Рос-

сия была счастлива во время его юности, то он иначе смотрел бы на ее историю и едва ли бы сделал из этой истории цель всей своей жизни. Если бы величие России было для Пушкина только чаянием и предположением, если бы оно не было для него самой животрепещущей очевидностью, то он едва ли бы мог верить, что он сам великий поэт, и не слыхать бы нам его дивных песен. Не могу подумать без радости об этих причинах и об их результатах.

Относительно Пушкина вам известны, милостивый государь, сомнения и недоумения наших либералистов. С раздражением и злобою смотрят они на это великое явление русской жизни. Подумайте, говорят они, какие были времена, какое общество, какое положение дел? Ну, время ли было воспевать любовь и сочинять поэмы? Каких он женщин воспевал? Каких женщин могла произвести тогдашняя жизнь? Возможно ли было любить красавиц, не имеющих никакого понятия о книжке Милля²³, так как она появилась значительно позднее? Такими и подобными вопросами без конца осаждают память нашего незабвенного поэта и без конца злобствуют и издеваются над ним. А я, милостивый государь, чем больше слышу подобных вопросов, тем больше радуюсь, тем пламеннее благоговею перед таинствами нашей судьбы. О, как хорошо, что заяц перебежал дорогу Пушкину и что наш поэт не попал в число декабристов! О, как чудесно, что Пушкин не был повешен или сослан в Сибирь! Какое благополучие, что его великая душа могла упиться восторгом в одну из великих минут России и потом навсегда сохранила в себе отблеск этого восторга! Какое счастье, что его прекрасное сердце не иссохло, не изныло и разорвалось *так поздно*, на тридцать восьмом году! Была, значит, в русской жизни некоторая доля бодрости, силы, веры, красоты, гармонии, любви... И вот мы имеем теперь песни — бессмертные песни! Мы имеем поэзию, имеем литературу! Пусть негодуют на все это Пыпины, сколько их ни есть, — я всегда буду этому радоваться.

Но обратимся к Карамзину. Первое и огромное его дело состояло в преобразовании русского слога. Г. Пыпин смотрит на это дело с высочайшим высокомерием. Он смеется над слогом Карамзина, называя его *медовым стилем* (с. 195); он признает литературные заслуги Карамзина, но тщательно оговаривается, что это были заслуги *для того времени*; вообще же он полагает, что теперь чисто литературная сторона дела уже потеряла свой интерес (с. 171). Напрасно! Знает ли господин Пыпин, что он сам пишет весьма несовершенным слогом, таким слогом, который лишь в очень слабой степени отражает в себе карамзинское

преобразование, не содержит и сотой доли достоинств карамзинского слога? Слог у г. Пыпина тощий, неповоротливый, лишенный течения, чуждый разнообразия и меткости, исполненный напыщенности самой прозаической, канцелярской, загроможденной оборотами и выражениями казеннейшими. А между тем ведь слог есть выражение души писателя. Что значит ввести новый слог, как это сделал Карамзин? Ведь это значит заговорить *новым языком*, то есть открыть, создать новую сферу мыслей и чувствований. Писатели, кажется, должны бы ясно понимать, в чем тут дело. Пусть люди грубые и невежественные полагают, что можно *сочинять* умные мысли и прекрасные чувства: пусть г. Пыпин многократно уверяет, что чувствительность и нежность, которыми Карамзин преобразовал русскую литературу, существовали только *в книжке, на бумаге*. Кому случилось в жизни написать хоть одну страницу, достойную имени литературного произведения, тот знает, что, создавая эту страницу, он клал свою душу на бумагу, изливал на бумагу свое сердце; иначе ничего бы не вышло, или вышло бы нечто такое, что обличило бы лишь кривляющуюся пустоту и напрягающуюся глупость писавшего. Повторяю — слог есть выражение души писателя. Карамзин преобразовал русскую литературу *свою душою*.

Когда я представляю себе Карамзина, возвратившегося из путешествия, когда воображу себе этого удивительного юношу, в котором тогда воплотилась наша литература, я не нахожу меры своему восхищению. Это было зрелице очаровательное, ослепляющее; это было чудо едва постижимое. Вот человек, который посетил чужие края — и однако же любит свою родину прежнею пламенною любовью; он беседовал с первыми умами Европы — и однако же умственные интересы Москвы имеют для него ту же кровную драгоценность; он украшен всею глубиною и тонкостию тогдашнего образования, и однако же он вполне русский, русский до мозга костей. Какова сила, каково притяжение русской жизни! Какая способность взять у Запада много, очень много — и не отдать ему ничего заветного! Душа моя наполняется умилением, несмотря на все вопли негодования, издаваемые нашими либералистами.

О, как бы я желал, чтобы эту минуту русской литературы описало перо не столь слабое, как мое, чтобы кто-нибудь изобразил ее с красноречием вполне достойным! Карамзин заговорил, Карамзин стал писать — это значит: он стал изливать свою душу бесчисленными волнами, свободными, сильными, неиссякающими. Что за диво, что за восторг! О чем ни заговорит Ка-

рамзин, все выходит прекрасно. А он говорит обо всем, не выбирая, не сочиняя предметов; он говорит о своих друзьях, о своих прогулках, о Москве, о Париже, о каждом своем мимолетном чувстве, о каждой мысли, шутке, слезе, вздохе. Он весь открыт, он весь наружу, и он весь красота, весь поэзия, весь изящество. Россия ахнула. Россия изумилась и залюбовалась без конца и без меры. Так вот что значит поэзия? Так вот что значит литература? А мы думали, что поэзия есть *редкий гость* на земле; мы и не знали, что есть целый мир прелести в том, что нас окружает, что мы видим и делаем ежедневно. Да после этого и русская история, эта дикая и чуждая нам история, пожалуй, может оказаться любопытною, занимательною, даже величественною!

Бот, милостивый государь, тот смысл, который имело преобразование русского слова, совершенное Карамзиным; это было преобразование понятий, безмерное расширение области слова и мысли, ясное, блистательное откровение *возможности целой литературы* там, где ее еще не было, где только изредка, как лучи солнца сквозь темные облака, сияли восторгом песнопения Ломоносова, Державина. Совершить такое дело можно было только душою невообразимо чуткою ко всему истинно человеческому и поэтическому; Карамзин больше, чем кто-нибудь, доказывает своею деятельностью, что прекрасный слог есть выражение прекрасной души.

Спешу оторваться от этой восхитительной картины, от этих отрадных мыслей, с тем чтобы перебрать другие существенные пункты, которых касается г. Пыпин. Он долго останавливается на «Похвальном слове Екатерине II»²⁴ и жестоко негодует на восторженный тон как этого Слова, так и статей по общественным вопросам, писанных Карамзиным в первые годы царствования Александра I. Г. Пыпин называет этот тон *приторно-льстивым* (с. 202); «перечитывая эти *тирады*, — говорит он несколько выше, — наконец утомляешься этим тоном *лести*, преклонения и восторга» (с. 201). Лесть! Приторная лесть! Но отчего же лесть, милостивый государь? Какое право имеет г. Пыпин поступать здесь так, как он и везде поступает по отношению к Карамзину, а именно — истолковывать все его слова и действия в дурную сторону? Разве Карамзин подал к этому хотя малейший повод? Если бы мне сказали, что г. Пыпин сделал глупость или подлость, то и тогда я не считал бы себя правым, злорадно поверивши первому слуху. Во сколько же раз виноватее г. Пыпин, постоянно подкладывающий под слова и действия Карамзина побуждения подлые и низкие? Г. Пыпин обходится с Ка-

рамзинным так, как я никогда не решусь обойтись даже с г. Пыпинным.

Царствование Екатерины II, взятое в целом, и первые годы царствования Александра I были временами, когда по России проносилось веяние радости, когда наше государство жило некоторым восторгом. Карамзин был одним из выразителей этого восторга. Вот ясное и простое дело. Чем же виноват наш великий писатель? Не кривит ли умом всякий, кто скажет, что Карамзин кривил душой?

Мы знаем, что современные либералисты находят этот восторг диким, нелепым и вредным; с неописанной злобою смотрят они на всех, кто его испытывал, и осыпают их ругательствами как хранителей и поборников зла, застоя и ретроградства; словом, либералисты желали бы, чтобы этот восторг вовсе не существовал, чтобы на всем протяжении нашей истории не было для русского народа ни одной минуты самодовольства, гордости, радости. Ибо гордиться, говорят они, могли только дураки и радоваться только подлецы.

Не знаю, насколько позволительно и полезно желать, чтобы не было того, что уже было; в этом вопросе сеть глубина, смущающая мою философию. Позволю себе, однако же, выразить свое посильное мнение. Признаюсь, я нахожу весьма приятным, что мироздание имеет некоторую прочность, некоторую устойчивость, что если люди имеют возможность делать глупости в настоящем, могут в своих мечтах и планах вертеть по-своему будущим, то они по крайней мере не могут изменить прошедшего. Эта неизменность прошедшего часто внушает мне пламенную благодарность Провидению, столь мудро устроившему мир. Среди тревог настоящего, среди опасений за будущее, что было бы с нами, если бы и наше прошедшее было делом сомнительным и ненадежным? Но, по счастию, славные подвиги, великие мужи, счастливые времена — навеки безопасны, коль скоро они прошли. Представьте себе, милостивый государь, что было бы, если бы русская история находилась в некоторой власти г. Пыпина, г. Стасюлевича²⁵ и им подобных историков. Сердце сжимается от жалости при одной мысли об этом бедствии. Тогда — прощай все то, чем мы любимся и гордимся; ибо гордость и любование должны быть уничтожены в наших сердцах как вещи вредные. Тогда Пушкина не было бы, Карамзина не было бы; вместо Державина при Екатерине явился бы г. Некрасов²⁶ и обличал бы тогдашним языком тогдашний Невский проспект; тогда французы, приходившие в Москву в 1812 году, погибли бы не так, как рассказывает гр. Лев

Толстой, а только и исключительно от мороза, как этого желают новейшие фельетонисты; тогда самой Москвы не существовало бы; тогда... Но я останавливаюсь; мысль эта, очевидно, способна к бесчисленным вариациям, она чревата множеством образов; но в каких бы формах они ни воплотились — она ужасна, она невыносима!

Душе чувствительной особенно противны те желания, которые направляются против благополучия людей, которые видят зло в восторге, одушевляющем целый народ и целое государство, которые посягают на самый дух жизни, столь крепкий, столь бодрый, столь могучий в русском народе. Этот народ способен к удивительному энтузиазму — источнику великих дел, главному нерву исторического развития, корню всякой поэзии, всякой жизни. Немало зла существовало и во времена Екатерины и в первые годы царствования Александра; но рядом с этим злом по жилам народа текла сладостная струя гордости, надежды, славы; ужели не безумно и дико смотреть с укоризною и злорадством на это обилие веры, на это чувство силы и счаствия, тем более отрадное, чем тяжелее были условия, в которых оно жило и появлялось в великих деяниях, в великих писателях? Следовало бы радостно задумываться над этой поистине завидной судьбою, а не порицать тех, кому она выпала на долю. Господину Пыпину непонятен восторг Карамзина; но отсюда отнюдь не следует, что Карамзин дурак и льстец, а следует... что понятия г. Пыпина извращены и ограничены.

Перехожу теперь к главному предмету статьи г. Пыпина, к «Записке о старой и новой России»²⁷. Суждение, которое мы составили себе об этой «Записке», чрезвычайно просто. Карамзина невозможно назвать политиков ни в каком смысле этого слова. Он не имел никакой системы политических убеждений, никакой теории, никакого связного и цельного взгляда. Равным образом он не способен был и к практической политике, не умел применяться к обстоятельствам и писать и говорить сообразно с ними для достижения заранее предположенной цели. Все это как нельзя яснее выражилось в его «Записке», и всему этому я от души радуюсь. «Записка» не имела и не могла иметь успеха, да и нельзя не видеть, что она не содержала никаких положительных и ясных требований. Как это характеристично и как этому можно порадоваться! При своем огромном чтении и образовании не поразительно ли, что Карамзин не нашел во всех европейских литературах таких юридических и политических понятий, к которым мог бы примкнуть всей душою? Какая душевная чуткость обнаруживается в этом отвержении

всего, что не было и не могло быть сродно с русскою жизнью! Во сколько раз в этом случае Карамзин выше Сперанского²⁸, который без раздумья и колебания отдался французской системе!

Карамзин руководится в своей Записке не какими-либо отвлечеными понятиями, определенными целями, а только живым инстинктом, только сильным, хотя неясным сознанием положения своего народа, непосредственным чувством, и он указывает не на то, что следует делать, а только на то, чего делать не следует. Это превосходный пример того консерватизма, который принадлежит к самой сущности всякой жизни. Живое не дает себя резать безнаказанно; живое дает под ножом кровь и испускает крики. Такое явление очень досадно многим умным людям, но я нахожу его прекрасным и думаю, что было бы хуже, если бы жизнь не чинила никакого отпора этим умникам. Как человек, которого жизнь тончайшими нервами связывалась с жизнью народа, Карамзин оказался упорным консерватором и ничем другим он и не мог оказаться. Три пункта указывает и подробно разбирает г. Пыпин, в которых обнаружился консерватизм Карамзина. Карамзин был защитником правительенного абсолютизма, был противником освобождения крестьян и впоследствии точно так же — противником освобождения Польши.

Слава нынешнему царствованию! Слава государю Александру II! Теперь мы можем говорить об этих вопросах и можем спокойно рассматривать их не как гнетущее нас самих зло, а как тяготу исторического развития, некогда перенесенную нашими предками. Крепостное право уничтожено, Польша в значительной степени умиротворена, правительственный абсолютизм ослаблен в своей излишней и напрасной тяжести, и ему предназначено все яснее и яснее ограничивать себя сферою, где он истинно-благодетелен и неприкосновенно-ненарушим.

Если теперь мы спросим себя, прав ли был Карамзин в своем консерватизме, то должны будем подивиться необычайной верности, с которой русское сердце подсказало ему, что в планах Александра I-го не было ничего прочного, ничего истинно живущего и что, следовательно, они ни к чему не могли бы привести, кроме зла. Относительно Польши мы теперь знаем, что планы Александровы были противны нашим интересам государственным и народным, мы убедились историей, что Карамзин смотрел на Польшу глубоко-верно. «Сыновья наши, — говорил он, — обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут

штурмом Прагу!» * Так это и было. Относительно крепостного права и абсолютизма Александр I не исполнил своих предначертаний; но нет сомнения, что если бы он их исполнил, то навлек бы на Россию те дурные последствия, которые предсказывал ему Карамзин. Если бы крестьяне были освобождены не в нынешнее царствование, а тогда, при Александре I, то непременно *были бы освобождены без земли*. Вот было бы зло величайшее! Никто, и сам Карамзин не мог себе представить, чтобы дело могло произойти иначе, чтобы крестьян следовало наделить землею; таковы были тогдашние понятия, и нет никакого сомнения, что, конечно, такова была и мысль Александра I. Понятно, следовательно, упорство, с которым Карамзин противился столь для него ясному расстройству народной жизни, столь глубокой ране, которую готовились нанести государству. Точно так же, если бы Александр I ограничил правительственный абсолютизм (каковые пробы были отчасти совершаемы и в прежние царствования), то из этого, вероятно, не произошли бы действительные ограничения, а произошли бы одни смуты. И то и другое дело было делом невозможным, не представляло жизненных, крепких условий для своего успешного совершения и развития; Карамзин превосходно это чувствовал и высказал царю со смелостию, достойною русского гражданина.

Но оставим эти таинственные и трудные соображения. Неохотно и не без некоторого смущения касаюсь я предметов этого рода. Далекий от дел государственных, нередко я втайне благословляю свою смиренную долю, когда помыслю, в какое великое затруднение привели бы меня задачи, с коими другие обращаются легко, отважно, не задумываясь. Итак, оставим государственные соображения и не будем на них настаивать. Положим, что в сем случае и Карамзин взялся за дело ему несродное и несвойственное. Представим, что если бы на месте Карамзина был г. Пыпин, то он дал бы Александру I советы несравненно основательнейшие, несравненно сообразнейшие с тогдашними потребностями и пользами нашего отечества. Подобная мысль, как ни странно это вам покажется, еще не содержит в себе ничего для меня убийственного и несносно-горького.

Но г. Пыпин простирает свое осуждение на предметы гораздо более дорогие для всякого сердца, любящего добро. Г. Пыпин порицает в Карамзине не просто государственного мужа, но человека; он порицает личный характер бессмертного писателя, он сомневается в благородстве чувств этого чистейшего и пре-

* Неизданные сочинения Н. М. Карамзина. СПб., 1862. Ч. 1. С. 7.

краснейшего из людей. Вот, милостивый государь, ужасное обвинение, вот мысль, способная привести душу чувствительную в отчаяние за род человеческий. Г. Пыпин уверяет нас, как мы видели, что Карамзин был *льстецом* по отношению к верховной власти; что же касается до народа, то, по словам г. Пыпина, Карамзин смотрел на него «с презрительностью помещика, считавшего, что крестьяне принадлежат к другой породе» (с. 228); Карамзин будто бы любил и одобрял «торговлю людьми, как собаками» (с. 229); у Карамзина «парни женились и девки выходили замуж по барскому приказанию» (с. 229); словом, он был заражен «самым дюжинным крепостничеством» (с. 225) и его чувства в этом отношении «граничили с совершенным бессердечием» (с. 227).

Бессердечие Карамзина! Вот одно из блестательных открытий, совершаемых новою историческою наукою, при помощи новых методов и усовершенствованных приемов. И суровая душа г. Пыпина не содрогается! И нам не страшно за себя, за наших потомков, за лучшие помыслы души человеческой, за святейшие упования нашего сердца! И никто не проливает слез, никто не оплакивает ничтожества человеческой натуры, ее безмерно жалкого жребия! *Карамзин был человек бессердечный!* Слыхали ли вы что-нибудь ужаснее этих слов? Да пребудут они вечным памятником бессердечия того, кто их произнес!

Но сдержим свое волнение, укротим невольные порывы чувств и разберем дело, если возможно, с хладнокровным рассуждением. На чем основывает свои выводы г. Пыпин? Единственно и исключительно на том, что Карамзин не желал отмены крепостного права. Какое нелогическое заключение! Какое явное невежество в механизме пружин человеческих действий и в свойствах души человеческой! Из того, что Карамзин защищал крепостное право, не только не следует, что он был дурной помещик, а напротив, должно быть выведено, как несомненное следствие, что он был помещик прекраснейший и человеколюбивейший, почему и не видел зла в крепостном праве.

Сия мысль достойна рассмотрения более внимательного. Крепостное право есть вздор в сравнении с вечностию — таково мое мнение, утвержденное во мне долгими размышленийми. И всякая мудрость человеческая есть вздор в сравнении с тайнами мира и человека; даже мудрость г. Пыпина, гордящегося тем, что он усматривает зло в крепостном праве, мне кажется, составляет слабое возражение против ничтожности человеческого разумения. Но благородство души человеческой не есть вздор ни в каком случае, ни в каком сравнении. И потому вот

где истинное мерило жизни и руководящая нить наших суждений. Что Карамзин был помещик и заблуждался — это еще небольшое горе, если бы мы узнали; но истинное было бы горе, если бы мы узнали, что он был действительно человек бессердечный. По счастию, его нравственный характер есть незыблемая истина, и свет этой истины нам озаряет дело гораздо яснее, чем вся ученость г. Пыпина.

Если Карамзин был помещик, то, значит, были хорошие помещики: вот вывод столь же строгий, как Эвклидовы заключения. Если были хорошие помещики, то, значит, крепостное право не было тяжко везде и всегда — вот несомненное рассуждение. Если Карамзин стоял за крепостное право, то это свидетельствует не против Карамзина, а только и единствено *в пользу крепостного права*.

Какое отрадное соображение! Как приятно себе представить, что столь великое и страшное зло, как крепостное право, было смягчаемо людскою добротою, было облегчаемо, доводимо до нуля усилиями людских сердец! Человеческая природа не только мирилась с этим злом, — она брала верх над ним! Я вижу, что это очень досадно г. Пыпину, но не могу понять, что неприятного может в этом найти истинно-добрый человек. О, бедная Россия! Твои доброжелатели не хотят простить тебе ни единой минуты облегчения, негодуют на каждый светлый час, который умела добывать себе твоя широкая душа среди тяжкой работы твоего развития. Можно подумать, что для этих нежных человеколюбцев каждый мужик, который вздумает запеть и пошутить, составляет предмет непривороного отвращения!

Мне приятно думать, что антагонизм между помещиками и крестьянами не доходил до крайностей, а по местам и вовсе не существовал, что он не выродился в вековую, непримирую, неизгладимую вражду, что крепостное право есть зло, не испортившее до конца внутреннего склада нашего государства, что при уничтожении крепостничества помещики оказались действительно великодушными и крестьяне действительно незлопамятными, что в силу всего этого слияние сословий у нас не одна мечта, а дело возможное и оказывающее успехи — все это мне приятно думать, и для всего этого я нахожу одно из блестательнейших доказательств в том факте, что благодушнейший и гуманнейший Карамзин столь легко мирился с крепостным правом. Мысль Н. Я. Данилевского²⁹, что это право было злом ничтожным сравнительно с феодальным рабством и что, следовательно, Россия развивалась в условиях менее тяжких, чем Западная Европа, а потому может и вперед ждать более здор-

вого развития — эта мысль мне кажется и справедливою, и утешительною. А когда я подумаю о том, как умеют иногда русские сердца нести возложенные на них тягости, как легко они подымаются *выше* временных обстоятельств, то мысль о Карамзине и его крестьянах не только теряет для меня всякую тень неприятности, но даже приводит меня в совершенное умиление.

Но что мы слышим? Г. Пыпин старается фактами доказать, что Карамзин был помещик недобрый; г. Пыпин так уверен в этом заранее, что не находит ни малейшего затруднения подтвердить свою мысль печатными свидетельствами. Посмотрим на эту новую историческую мудрость, ниспровергающую наши заветнейшие убеждения. Г. Пыпин вообще касается дела легко и небрежно, как будто оно само собою разумеется; есть, однако же, у него факт, и притом единственный, который, по-видимому прямо и ясно свидетельствует против Карамзина. Г. Пыпин утверждает, что у поселян, подвластных нашему знаменитому писателю, не могло быть *нежных подруг*, коих Карамзин некогда приписывал им в своих сочинениях, ибо-де у Карамзина «парни женились по барскому приказанию, — хотя бывали примеры, что против этих мероприятий крестьяне восставали “миром” — вероятно, не без причины» (с. 229).

Скажу не хвалясь — ни на одну минуту я не усомнился в Карамзине, не поверил поступку, столь противному всякой чувствительности и нежности. Пусть извинит меня г. Пыпин, но я тотчас, судя по свойствам его души, столь ясно выражавшимся в его слоге, предположил, что он попал в жестокую бестолковщину, что он с легкомыслием, не делающим чести его сердцу, взвел на Карамзина небылицу. Я стал разыскивать и что же оказалось? Г. Пыпин, по невероятной сухости своей натуры, по неистовому ослеплению, порожденному сею сухостию, принял за жестокость Карамзина то, что было действием нежнейшей попечительности этого доброго помещика. Судите сами.

В селе Макателеме жил некогда молодой крестьянин Роман Осипов. Русые кудри вились на голове его, и серые глаза его блестали лукавством и смысленостию. Он воспыпал страстию к дочери бывшего поверенного, Архипа Игнатьева, и собирался на ней жениться. Но крестьяне того села, озлобленные на юного любовника по причинам, о которых за отдаленностью времени мы, к сожалению, ничего не знаем, не только не хотели допустить сего брака, но и вознамерились отдать злополучного Романа в солдаты. Счастию любящихся сердец никогда бы не совершилось, если бы не доведал о том благодетельный помещик Макателема. И вот он пишет своему бурмистру Николаю Иванову и всему миру повеление: «приказываю вам непременно женить Романа на дочери Архиповой и *не отдавать его в рекруты*. 28 ноября 1820».

Так я понимаю эту историю; так она несомненно следует из документов, напечатанных у Погодина:³⁰ Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и пр. Часть II, с. 437 и 438. Приказ Карамзина, очевидно, имеет в виду благо Романа Осипова и кроме сей великодушной цели никакой иной иметь не может. В том же приказе за повелением об Романе Осипове следует повеление оставить в покое крестьян Миная Иванова, Акима Федорова и Федора Михайлова, коих невежественные обитатели Макателема обвиняли в порче, в том, что они будто бы делали женщин кликушами. «Это бабы сказки и совершенный вздор», — пишет просвещенный Карамзин. В следующем приказе любвеобильный помещик приказывает не отдавать в рекруты Алексия Ефимова, который подрался с тестем и откусил ему палец, и которого бурмистр крепко наказал, а мир сверх того приговорил отдать в солдаты. «Не приказываю, — пишет Карамзин, — ибо он уже был наказан». И так далее, и так далее.

Спрашивается, до какой степени должно доходить помрачение разума и оскудение сердец, чтобы без всякой причины истолковать в дурную сторону один из многих приказов, которые все сплошь показывают, что Карамзин своею властью боролся с жестоким миром села Макателема и защищал гонимых крестьян от тяжких приговоров мирского общества?

Вот она — новейшая историческая критика! Вот она — новая, более высокая точка зрения, которою похваляется г. Пыпин в начале своей статьи! Эти новые воззрения ведут лишь к тому, что прогрессивный историк перестает понимать нежные движения сердца, прекраснейшие стороны человеческой души, что он смотрит в книгу, а видит фигу, что он... умолкаю от негодования и горести.

Приступим теперь к предмету наиболее важному, наиболее щекотливому. Приверженность Карамзина к правительственно-му абсолютизму истолковывается г. Пыпиным в самую дурную сторону. Карамзин является у него писателем льстивым, носившим лишь маску гражданской доблести, а втайне благоприятствовавшим вожделениям самовластия. Скажем опять — какое непонимание чистых инстинктов души человеческой! Скажем опять — приверженность к известному началу такой души, такого сердца, какие были у Карамзина, свидетельствует только в пользу этого начала. История должна записать на своих вековых скрижалях: правительственный абсолютизм не был злом для России, не заключал в себе ничего неблагородного; ибо Карамзин жил при этом абсолютизме, Карамзин признавал его за благо. Россия, которая произвела Карамзина, дала тем

самым непререкаемое свидетельство, что в ней были все условия для существования чистейшей гражданской доблести. Отношения между Карамзиным и Александром I — суть типические отношения, в которых могут и в которых всегда должны стоять русский царь и русский подданный.

Дело здесь столь громкое, столь решительное, столь красноречивое, что сам г. Пыпин остановился в некотором минутном недоумении над речами и действиями Карамзина. По своим понятиям — (превратно, но упорно заключает г. Пыпин) Карамзин не мог иметь гражданской доблести; но злорадный критик вынужден тотчас признать, что Карамзин словом и делом противоречил этим своим мнимым понятиям, то есть имел гражданскую доблесть! А мы прибавим, что противоречие существует только в голове и в понятиях самого г. Пыпина! «В “Записке о старой и новой России”, — рассказывает г. Пыпин, — не раз Карамзии обращался к императору Александру со словами: “требуем”, “хотим”. Но что же дало вам право “требовать” чего-нибудь? — можно было бы спросить его. Эта претензия есть еще одно из тех противоречий, которых мы уже немало видели в “Записке”: по его же собственной теории добрым “россиянам” надо было только повиноваться» (с. 245).

Претензия! Какое презрительное слово! Так называет г. Пыпин то, что Карамзин считал своим святым правом и долгом, что он исполнял столь просто и столь твердо. Понятия Карамзина имели высоту, до которой не могут подняться многие ослепленные взоры. Лицом к лицу Карамзин так говорил императору Александру: «Мы все равны перед Богом; есть свобода, которой не может отнять у меня никакой тиран»*. Вот тайна русского самодержавия, в силу которой его незыблемо хранит народ, которую одинаково чувствуют и самодержцы и подданные. Власть принадлежит царю, но честь и совесть, но мысль и нравственный суд не составляют предметов для власти и суть блага, на которые русские граждане никому и никогда не уступали прав сознательно. Случалось, конечно, что государи ошибались в значении своей силы; случалось также, что и подданные искали понятия о своих отношениях к власти; но истинный смысл союза между царем и народом иногда обнаруживался во всей своей чистоте, и Карамзин принадлежит к числу блистательнейших примеров этого обнаружения. Если бы это был даже пример единственный, то и тогда он остался бы вечным свидетельством для грядущих веков и народов о чисто-

* Неизданные сочинения Н. М. Карамзина. Ч. 1. С. 9.

те и высоте идеи, стремившейся воплотиться в русских государственных формах. Не знаем, что будет, но то, что было, внушает русскому сердцу не одну горесть, а нередко и гордость радостную и справедливую!

Что скажем в заключение? Заговорим ли об «Истории государства Российского»? Но величие предмета изумляет меня и внушает мне дерзость безмолвия. Ужели и это дело, эта пирамида, воздвигнутая египетским трудом несравненного таланта, нуждается в какой-либо защите? Ужели нельзя отвечать одним презрением на все выходки, нельзя просто сказать, что ничто так разительно не обнаруживает скучности умственной и сердечной, как сомнение в пользе и величии «Истории государства Российской»?

Бессмертное, непостижимое дело! Нужна была гениальная прозорливость, чтобы угадать важность и силу государственного характера нашей истории; нужен был ум, бесконечно ясный и чуткий, чтобы понять, что точка зрения нравственная и художественная, то есть *вековечная* точка зрения, одна могла быть твердою опорою для создания нашей истории, что всякая иная точка зрения неминуемо увлекла бы историка во взгляды ложные и поверхностные. Но что я говорю? Столь высоких даров не нужно было, или правильнее — нужно было сверх этих даров нечто большее, — нужна была простота и чистота младенца, посрамляющая, как мы знаем, мудрость мудрых и разум разумных!

Что было бы с нами, если бы нашу историю до сих пор писали только наши мудрецы, мудрецы нынешние или мудрецы тогдашнего времени? Не могу помыслить без ужаса. Что было бы, если бы русскую историю написал Сперанский, который думал, как о том упоминает г. Пыпин, что на наше прошедшее можно взглянуть *совсем иначе* (с. 172)? Сперанский не изъяснил своей мысли подробнее, но мы можем хорошо ее угадывать. От Сперанского до г. Пыпина немало было людей, которые смотрели на русскую историю *совсем иначе* и пытались *совсем иначе* писать ее. Мы знаем, каким отвратительным слогом эти люди писали и пишут; для нас не тайна, отчего у них действительно все выходило *совсем иначе*, чем у Карамзина, а правильнее сказать до сих пор ровно ничего не выходит.

Когда я помыслю обо всем этом и все это соображу, то не знаю, дать ли мне свободный ток слезам умиления и восторга или же предаться пламенному негодованию на наше забывчивое и ветреное племя. Можно ли представить себе подвиг прекраснее подвига Карамзина? Если мы пишем теперь сколько-

нибудь по-человечески, то обязаны этим Карамзину; если еще жива в нас вера в землю русскую, то в какой значительной, в какой огромной мере мы обязаны этим Карамзину! О, тайна славянских народов — кто тебя постигнет? Каким образом в славянском духе — злая едкость и твердая сила сочетаются с голубиною нежностию? Каким образом наша история, эта, по-видимому, мрачная и страшная история, была всего лучше постигнута человеком сердца беспредельно мягкого и чистого, души славянски-кроткой? Каким образом среди стольких жизненных противоречий — этот чудесный человек мог стать образцом своего народа, совершив дела великие, незабвенные?

Он сам иногда задумывался, дивился самому себе. Найти прямой путь было столь же трудно, говорит он, как найти философский камень; но его несравненное сердце указало ему этот путь безошибочно! *

Тень любезнейшая! С благоговением преклоняюсь пред тобою. Говоря о тебе, я во всем следовал тебе, великий учитель. Я судил Карамзина так, как его следует судить — по началам Карамзинским! Всегда и во всем он был верен самому себе — какая прекрасная похвала для души столь прекрасной!

И неужели ты будешь забыт? Сердце сжимается при мысли столь горестной и, однако же, столь вероятной. Вижу, как со всех сторон на тебя подымаются Пыпины бесчисленные. Седовласые старцы и юные студенты одинаково восстают на тебя — и душа моя содрогается.

Но — прочь малодушие! Никогда не поверю я, чтобы могла совершиться столь великая несправедливость, чтобы мироздание имело шаткость столь неразумную и нелепую, чтобы Россия, произведшая Карамзина, могла потом отпустить до непонимания и забвения его. Нет, все это шутки, вздор, дым. Дунет могучий ветер и унесет всю эту шелуху с лица земли русской. Не тебе, о, мой великий учитель, но врагам твоим предстоит участь плачевная и жалкая. Ибо для людей, желающих быть умными, что может быть плачевнее доказательства, что они не умеют понимать великого? Для людей, желающих быть славными, что может быть позорнее того, что они хулят вещи, достойные похвал и восторгов?

Участь г. Пыпина уже давно меня трогает. Давно уже я слежу за ним, так как он с чрезвычайным усердием и большою

* «La religion de mon coeur m'a fait presque trouver la pierre philosophale» («Моя сердечная вера позволила мне чуть ли не найти философский камень») — из письма к жене. См.: Неизданные сочинения. Ч. 1. С. 166.

ученостию занимается литературой и ее историей, — предметами от юности для меня любезными. Странная и поистине горькая судьба! За какой бы предмет ни взялся г. Пыпин, какую бы книжку, самую редкую и многозначительную, даже наистройжайше запрещенную, он ни стал рассматривать (желая сделать из нее журнальную статью), всегда повторяется одна и та же история. Всегда сущность дела, истинный интерес и главный смысл книжки ускользает из рук, проходит сквозь пальцы г. Пыпина и оставляет ему одну пустую шелуху, сор и грязь исторических случайностей, пыль и паутину веков. С презрением отряхает г. Пыпин эту дрянь со своих либеральных пальцев и хватается за новый предмет, за новую книжку; но увы! с ними повторяется то же, что было с прежними. Вот уже многие годы продолжается эта работа; весь в пыли и грязи сидит г. Пыпин и все еще не отчаявается, все еще думает, что дело делает. И будет он так думать и действовать до конца дней своих. И составит он себе из этой пыли и грязи пьедестал, на котором будет гордо красоваться. Обругать Карамзина! Какая слава! Какая судьба! Какая участь! Поистине могу сказать, что не зависящую этому жребию!

Бот и теперь — живо представляю я себе впечатление, которое должно произвести мое настоящее письмо на г. Пыпина. Он, конечно, не обратит ни малейшего внимания на мои рассуждения и останется глух к их смыслу. Я предчувствую, что он, его редактор и все сотрудники «Вестника Европы» будут думать прежде всего об одном — нет ли в письме моем доноса? Нельзя ли так истолковать какую-нибудь фразу, чтобы вышел донос? Это они сделают не потому, чтобы они боялись доносов, а потому, что для их гуманного сердца всегда чрезвычайно приятно обозвать своего противника доносчиком. И так досадуйте же и злобствуйте, мои любезные противники! Доносов у меня не найдете, да и вообще замечу, что вам нечего плакаться на судьбу, нечего предаваться этому занятию, слаще которого для вас ничего нет на свете. С вашей точки зрения вы должны быть довольны, должны гордиться и радоваться.

Ну, что значит мое письмо? Г. Пыпин может считать его за шутку от первой строчки до последней. Мы все шутим, у нас все шутки! Статьи г. Пыпина, на мой взгляд, тоже чистейшие шутки. Даже целый «Вестник Европы» есть ничто иное, как огромная шутка, ежегодно издаваемая в двенадцати толстых томах, — шутка над русскою литературою, над русскою исторею, над памятью Карамзина, имени которого посвящен сей журнал. Мы резвимся и играем — кто как умеет, кто во что горазд,

кто в европейскую цивилизацию, кто в русскую народность! А жизнь и история между тем идут своим чередом, и ни цивилизация, ни народность нас знать не хочет.

Ну, что выйдет из моего письма? Статью г. Пыпина будут защищать и превозносить без меры; г. Буренин³¹ похвалит ее в «Спб. Ведомостях», г. Тургенев с удовольствием прочитает ее в Баден-Бадене³². Я же буду осыпан насмешками и бранью; даже «Сын Отечества», и тот меня, наверное, обругает. Пусть же г. Пыпин сочтет своих необозримых читателей и поклонников и пусть не предается унынию; пусть он сравнит свою блестящую судьбу с моей жалкою участью — пусть перестанет испускать жалобы, коих я не могу слышать равнодушно!

Одинокий, печальный, всеми журналами гонимый, никем не понятый, возьму я свой зонтик, пойду в Александро-Невскую Лавру, сяду на могильную плиту Карамзина и буду вздыхать и плакать. Вы, мрачные души, вы не можете уразуметь меня. Но в моих вздохах будет для меня отрада и в моих слезах счаствие, о котором ничего не ведает г. Пыпин.

Простите, милостивый государь, если волнение моих чувств и обилие моих мыслей не позволило мне соблюсти в этом письме совершенно строгий порядок и дать каждому выражению надлежащую силу. Я не имел времени с достаточной тщательностью все обдумать и взвесить свои слова и, может быть, погрешил где-либо против здравого вкуса и изящного слога. Но пусть сие слабое творение будет несовершеннейшим из моих произведений; могу вас уверить, что зато в целой нынешней литературе вы не найдете произведения более искреннего, более прямо вылившегося из души.

Н. Косица

